

Александр В. Моторин
Великий Новгород

ДОСТОЕВСКИЙ О РУССКОЙ НАРОДНОЙ САМОБИТНОСТИ

Полный расцвет творчества Достоевского знаменательно совпадает с приобщением к старорусской жизни: в географическом и духовном пространстве. С мая 1872 года писатель подолгу живет на земле Старой Руссы, углубляясь в постижение старых, но и вечно новых начал русской почвы, народности. Между прочим, это сказалось в существенном преобразении творческой установки: с 1873 года Достоевский начинает *Дневник писателя* и ведет его, выпуская в свет, с перерывами вплоть до января 1881 года, почти до самой своей кончины. Перерывы в работе над *Дневником* по сути таковыми не являются. Большие итоговые романы *Подросток* (1874–1875) и *Братья Карамазовы* (1878–1879) можно и должно рассматривать как притчевые включения в ткань творческого Дневника жизни, наподобие непосредственно помещенных в *Дневник писателя* малых произведений (*Мальчик у Христа на елке*, *Бобок*, *Сон смешного человека*, *Кроткая*). В сопроводительных дневниковых пояснениях к этому роду произведений Достоевский указывает на их особую художественность: правдивость, почти невымышленность, приближающуюся к творческому заданию самого *Дневника*: писать «о виденном, слышанном и прочитанном» (*Дневник писателя*, 1876, март)¹. При таком подходе даже в большом романе начало художественного вымысла, воображения отчасти погашается стремлением к образному осмыслению действительного жизненного опыта, подлинного личного переживания.

Таким образом, зрелый Достоевский в значительной мере вернулся к одному из коренных начал русского самосознания: к словесному творчеству, свободному от личного произвола художника, от магической игры воображения, от искушения создавать и навязывать большому

¹ Ф. М. Достоевский: *Полн. собр. соч. в 30 т.* Ленинград 1972–1990. Т. 22, с. 80. Далее выдержки из произведений Достоевского приводятся по этому изданию с указанием тома и страницы в скобках после цитаты.

Божьему миру свой собственный мир, свою правду. Это творчество летописное, молитвенное, проповедническое, богослужбное, всегда в той или иной мере пророческое (не столько в смысле предсказания будущего, хотя и это неизбежно, сколько в смысле духовного богообщения, исполнения Божьей воли). Многие современники признавали в Достоевском черты пророка, и сам он, несомненно, стремился в последние годы жизни к такому предназначению как единственно истинному для писателя (потому и любил на склоне лет принародно читать стихотворение Пушкина *Пророк*).

Именно в этом пророческом, летописно-дневниковом завершении и совершенстве творческой жизни писатель с особенной ясностью осознал и обозначил свою главную цель и задачу: «Главная цель *Дневника* пока состояла в том, чтобы по возможности разъяснить идею о нашей национальной духовной самостоятельности и указывать ее по возможности в текущих представляющих фактах» (*Дневник писателя*, 1876, декабрь; т. XXIV, с. 61).

Русскую народную самобытность Достоевский рассматривает с двух основных сторон: со стороны ее вечных, неколебимых «начал» или «идеалов» и со стороны современного, текущего отступления от этих начал — соращения, разращения русской души в лице многих «*желающих совратиться*» (*Дневник писателя*, 1876, апрель; т. XXII, с. 130). Писатель верит, что пока существуют начала, существует и народ и ничто не может его уничтожить, поскольку начала его жизни вечны, разве что он сам (или какая-то часть его) откажется от самого себя, предаст себя в руки врага Божьего и человеческого. Но и в этом печальном случае народ, будучи соборной личностью, сотворенной для вечной жизни не исчезнет, а расколется на две доли, точнее уже на два разных народа, один из которых унаследует вечную райскую жизнь с Богом, другой — вечное адское умирание с сатаной, согласно евангельской притче Христа о Своем Втором Пришествии и Страшном суде над народами-языками (Мф. 25: 31–46). На этой притче строится вся православная историософия, сторонником которой оказывается Достоевский: каждый народ, как и каждый отдельный человек, сотворен не только для временной, но и для вечной жизни и всегда пребывает в ответе перед Богом за свои земные помыслы, слова и деяния.

В февральском *Дневнике писателя* 1876 года о народных началах говорится так:

Наш народ хоть и объят развратом, а теперь даже больше чем когда-либо, но никогда еще в нем не было безначалия [...]. А идеалы в народе есть и сильные, а ведь это главное: переменятся обстоятельства, улучшится дело и разврат,

может быть, и соскочит с народа, а светлые-то начала все-таки в нем останутся незыблемее и святее, чем когда-либо прежде (т. XXII, с. 41).

Идеальные русские начала сложились у утвердились за века страданий ради Христа и выразились в «простодушии, чистоте, кротости, широкости ума и незлобии» (т. XXII, с. 44), в желании послужить ближнему своему, а в конечном счете — Господу Богу.

Знает же народ Христа Бога своего, может быть, еще лучше нашего, хоть и не учился в школе. Знает, — потому что во много веков перенес много страданий, и в горе своем всегда, с начала и до наших дней, слыхивал об этом Боге-Христе своем от святых своих, работавших на народ и стоявших за землю русскую до положения жизни, от тех самых святых, которых чтит народ доселе, помнит имена их и у гробов их молится (т. XXII, с. 113).

Идеалы русского народа «сильны и святы, и они-то и спасли его в века мучений; они срослись с душой его искони» (т. XXII, с. 43); «его исторические идеалы» — это прежде всего святые подвижники, «да еще какие: сами светят и всем нам путь освещают!» (т. XXII, с. 43). Многие из них были первыми и лучшими писателями нашими (от Феодосия Печерского до Тихона Задонского). Светлые русские начала отразились и в образах новой словесности, — той ее части, которая унаследовала достоинства словесности древнерусской: «все, что в ней есть истинно прекрасного, то все взято из народа» (т. XXII, с. 43).

Самый чистый и глубокий источник русского народного духа — православное монашество, к которому старец Зосима в *Братях Карамазовых* обращается с поучением: «Берегите же народ и оберегайте сердце его. В тишине воспитайте его. Вот ваш иноческий подвиг, ибо сей народ — богоносец» (т. XIV, с. 294). Именно из среды монашества, напоминает Достоевский устами старца Зосимы, «издревле деятели народные выходили, отчего же не может их быть и теперь? [...] Русский же монастырь искони был с народом» (т. XIV, с. 294). Лучшие представители народа вопреки подавляющей все духовное мирской среде находят в себе силы, чтобы уйти в монастырь и уже там обрести благодатные сверхчеловеческие силы для поддержки падающего мира. Кто-то эту поддержку оказывает, не покидая монастырь, подобно старцу Зосиме, а кто-то, подобно Алеше Карамазову, — возвращаясь из монастыря в мир. Сам старец Зосима благословил Алешу на это возвращение в мир: «Мыслью о тебе так: изыдешь из стен сих, а в миру пребудешь как инок» (т. XIV, с. 259).

Среди носителей народных начал в современности Достоевский особо отмечает русских женщин, непосредственно связанных с продолжением

народа в поколениях и с воспитанием народной души от младенчества. «Русский человек в эти последние десятилетия страшно поддался разврату стяжания, цинизма, материализма; женщина же осталась гораздо более его верна чистому поклонению идее, служению идее» (т. XXIII, с. 28); «в ней заключена одна наша огромная надежда, один из залогов нашего обновления» (т. XXIII, с. 28). Поэтому на страницах *Дневника* и в художественных произведениях писатель тщательно исследует женские судьбы, особенно те обстоятельства, в которых женщина лишается права на семью, на рождение и воспитание детей. Этому искажению женской доли способствует общее давление разлагающейся, «варварской» западной культуры нового времени и, в частности, деятельность судов, часто неправедных, с точки зрения русских представлений о справедливости.

В целом «руссизм», «русскую правду», «русскую особь», «русское начало» (т. XXIII, с. 40) Достоевский в зрелые творческие годы определил как производные от «русского духа» (*Дневник писателя*, 1876, июнь; т. XXIII, с. 40), понимая под «духом» веру православную и язык как неповторимо русское выражение этой веры. Отсюда повышенное внимание писателя к жизни родного языка (см., например, *Дневник писателя* за 1876 г., июль–август, гл. 3, разд. *Русский или французский язык?* и *На каком языке говорить будущему столпу своей родины?*). Отсюда же и непрестанное внимание к состоянию православной веры в России (это один из основных вопросов в *Дневнике писателя*, а также в крупных художественных произведениях, от *Преступления и наказания* до *Братьев Карамазовых*).

По Достоевскому, «отрицающий народность отрицает и веру. Именно у нас это так, ибо у нас вся народность основана на христианстве» (письмо А. Ф. Благодярову от 19 декабря 1880 г.; т. XXX, кн. 1, с. 236). Достоевский уверен, что Россия «несет внутри себя драгоценность, которой нет нигде больше — Православие, что она — хранительница Христовой истины, но уже истинной истины, настоящего Христова образа, затемнившегося во всех других верах и во всех других народах» (*Дневник писателя*, 1876, июнь; т. XXIII, с. 46). Отсюда проистекает высшее предназначение русского народа как истинно православного — ненасильственное примирение всех народов в правой вере, причем с сохранением духовного своеобразия, языка каждого народа:

[...] назначение и роль эта не похожи на таковые же у других народов, ибо там каждая народная личность живет единственно для себя и в себя, а мы начнем теперь, когда пришло время, именно с того, что станем всем слугами, для всеобщего примирения. И это вовсе не позорно, напротив, в этом величие наше [...]. Кто хочет быть выше всех в царствии Божием — стань всем слугой (*Дневник писателя*, 1876, июнь; т. XXIII, с. 47).

Эта мысль станет любимой у Достоевского и получит полное развитие в *Дневнике писателя* за 1880 год.

Русские представляются писателю неким всеобъемлющим духовным единством, способным воспринимать качества всех прочих народов, понимать их «особь» и в то же время оставаться самим собой: «[...] всечеловечность есть главнейшая личная черта и назначение русского» (*Дневник писателя*, 1876, июнь; т. XXIII, с. 31).

Россия как прообраз подлинного воссоединения народов противопоставит в понимании Достоевского «Европе» и «Соединенным Американским Штатам» как внешнему единству, за которым скрыто стремление народов к взаимному подавлению, к возвышению за счет других: «[...] Россия [...] есть нечто совсем самостоятельное и особенное, на Европу совсем не похожее и само по себе серьезное» (т. XXIII, с. 43); единение под защитой России

будет не одно лишь политическое единение и уж совсем не для политического захвата и насилия, — как и представить не может иначе Европа; и не во имя лишь торгашества, личных выгод и вечных и все тех же обоготворенных пороков, под видом официального христианства [...]. Нет, это будет настоящее воздвижение Христовой истины, сохраняющейся на Востоке, настоящее новое воздвижение Креста Христова и окончательное слово Православия, во главе которого давно уже стоит Россия» (*Дневник писателя*, 1876, июнь; т. XXIII, с. 50).

Историософскому взгляду Достоевского являются три основных современных способа и образа устройства человеческой жизни на земле: православно-русский, восточно-мусульманский и западноевропейский. У каждого способа глубокие исторические корни. Каждый способ порождает соответствующий сверхнарод, как особого рода объединение отдельных народов, связанных общим духом и верой, но несколько по-разному выражающих это общее духовное достояние на своих отдельных языках. У каждого сверхнарода в отдельные исторические эпохи преобладает один язык для выражения духовных ценностей и международного общения. Перемены в этом языке существенно связаны с переменами общего духа данного сверхнарода.

Православный, а в современных условиях русский по преимуществу, способ обустройства жизни восходит к первобытной (допотопной в библейском описании) праведности и ее преображающему возрождению в христианстве. Достоевскому близка романтическая мысль о том, что русский народ-«богоносец», как и славяне в целом, еще в своем язычестве сохранил некие черты первобытной праведности, которые, будучи преображенными христианским духом, удержались и после принятия Крещения. Такой взгляд на единство духовного становления

славян, и, в частности, русских, необходимо сочетается с убеждением в единстве их языкового становления, непосредственно питающегося корнями от *до-потопного* общего всечеловеческого языка, еще не испорченного в основе своей магическими заблуждениями и потому еще не раздробленного Богом (во время вавилонского столпотворения) на множество отдельных народных языков. Это воззрение поддерживалось славянофильскими кругами, а впервые его отчетливо выразил еще Александр Шишков².

Молодой Достоевский, будучи западником, посмеивался над подобными убеждениями. Так, в письме к брату 8 октября 1845 г. он рассказал о совместном с Николаем Некрасовым замысле альманаха «Зубоскал», в котором предполагается «острить и смеяться над всем, не щадить никого», и в котором, между прочим, будет освещено «последнее заседание славянофилов, где торжественно докажется, что Адам был славянин и жил в России и по сему случаю покажется вся великая важность и польза разрешения такого великого социального вопроса для благоденствия и пользы всей русской нации» (т. XXVIII, кн. 1, с. 113).

Однако с годами, став «почвенником», писатель иначе отнесся к частичной преемственности между языческой и православной праведностью славян. Знаменательно, что буквально последней цельной мыслью Алеши Карамазова в последнем романе писателя стала именно мысль о таком преемстве, причем в исключительно важном для жизни народа погребальном обряде — обряде, напутствующем из временной жизни в вечную (и мысль эта прозвучала после исповедания веры в воскресение мертвых для вечной жизни): «Ну, а теперь кончим речи и пойдем на его поминки. Не смущайтесь, что блины будем есть. Это ведь старинное, вечное, и тут есть хорошее» (т. XV, с. 197).

Православно-русский способ жизнеустройства писатель подробно описывает в *Дневнике* и сопутствующих художественных произведениях, рассматривая его в противоборстве с другими. Этому образу жизни особенно свойственно признание вечного достоинства и неповторимой самобытности каждого малого народа, входящего в состав данного духовного сверхъединства. Все народы рассматриваются как братья в общей семье. Именно этот способ жизни Достоевский считает богоданным и подлинно человеческим, а потому и достойным распространения на все человечество, на все мироздание. Такую свою веру в расширяющееся влияние русского духа он с особенной силой подтвердил в речи о Пушки-

² В.В. Виноградов: *Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX веков*. Изд. 3-е. Москва: Высшая школа 1982, с. 215.

не, помещенной в *Дневнике* на самом исходе жизни. Правда, это светлое убеждение отчасти противоречило трагической эсхатологии самого Православия, на что указал еще Константин Леонтьев, назвавший Достоевского представителем «розового христианства».

Исламский сверхнарод (в таких его проявлениях как российские татары-мусульмане и балканские турки) Достоевский рассматривает бегло и по сути не вычленяет его из состава западного сверхнарода, усматривая между ними общие родовые черты духа, способствующие и внешнему союзническому их противостоянию православной России и подопечным ей православным народам в ходе последних Крымской и балканской войн. Для этого двойного сверхнарода, в современном проявлении преимущественно западного, а по происхождению скорее ближневосточного, свойственно всепоглощающее стремление к земному господству, духовному и овеществленному. Это стремление побуждает к смесительному слиянию отдельных соучаствующих народов в общем составе, причем сильнейший из народов в определенную эпоху стремится подавить, поглотить другие народы, навязав им свой собственный язык. Поскольку вполне подавить другие народы чрезвычайно трудно, внутри двойного западно-восточного сверхнарода постоянно сохраняется напряжение внутреннего противоборства, самоубийственная устремленность к насилию всех над всеми не только по отношению к чужим, но и к своим, которые оказываются по сути чужими. Наибольшее напряжение наблюдается при этом между арабо-мусульманским и западноевропейским сообществами (причем западноевропейская составная исторически включила в себя новое иудейство христианского времени). Корнями своими западно-восточный сверхнарод восходит к первым проявлениям магического богоотступничества, отказа от первобытной праведности, что, согласно библейскому преданию, увенчалось вавилонским столпотворением. В последующем существовании магического сверхнарода наблюдаются постоянные попытки воссоединения своих сил, в частности, путем воссоздания некогда раздробленного, «смешанного» Богом (Быт. 9:11) единого языка человечества. В условиях современной европейской жизни эту столпотворительную нововавилонскую устремленность Достоевский усматривает прежде всего в католичестве, а в протестантском раздоре — очередное неизбежное наказание за магическую гордыню (*Дневник писателя*, 1876, март).

Другой полюс западного сознания — социалистическое учение — также скрывает в себе нововавилонскую магию,

ибо социализм есть не только рабочий вопрос, или так называемого четвертого сословия, но по преимуществу есть атеистический вопрос, вопрос

современного воплощения атеизма, вопрос Вавилонской башни, строящейся именно без Бога, не для достижения небес с земли, а для сведения небес на землю» (слова автора-повествователя в *Братьях Карамазовых*; т. XIV, с. 25).

Таким образом, Достоевский описывает по сути два современных сверхнарода: магический и православно-мистический. В жизни современной России он с горечью наблюдает признаки частичной пораженности магическим духом, наиболее полно выраженным на Западе Европы. В результате этой зараженности русский народ переживает состояние близкое к расколу и дальнейшему бесконечному раздроблению, чреватому отказом от богоизбранности, самоуничтожением в притязании на человекобожество. Дробление, как и на Западе, сочетается с попытками обновляющего воссоединения разрозненных частей путем их произвольного смешения. В *Подростке* Крафт, с немецкой дотошностью изучавший признаки самораспада России, представляет логическую цепочку изменений в народной душе: люди становятся «помешанными», утрачивают «нравственные идеи» и в своей душевной смешанности, замешательстве безлико усредняются до «золотой середины и бесчувствия, страсти к невежеству, лени, неспособности к делу и потребности всего готового» (т. XIII, с. 54). И после этого рассуждения он, казалось бы, неожиданно заключает: «Безлесят Россию, истощают в ней почву, обращают в степь» (т. XIII, с. 54). Возникающий здесь образ отрыва от почвы, от корней народного духа и, как следствие, измельчания растительно-жизненных сил народа (могучий лес — степная трава) вновь является уже в *Дневнике писателя* (1876, июнь), где причиной губельных изменений, измены народа собственному духу указывается подпадение чарам мнимо гуманной западной цивилизации:

Кто-то сострил в нынешнем либеральном духе, что нет худа без добра, и что если и сведут весь русский лес, то все же останется хоть та выгода, что окончательно уничтожится телесное наказание розгами (т. XXIII, с. 41).

Достоевский наблюдает, как, покоряясь обаянию западной цивилизации, изменяя языку и вере, некоторые образованные «русские» люди «теряли последнее русское чутье свое, теряли русскую личность свою» и «становились разрушителями России, врагами России!» (*Дневник писателя*, 1876, июнь; т. XXIII, с. 43). С другой стороны, он наблюдает, как выходцы из других народов в России становятся русскими по духу, а значит и по существу. Наблюдает он и сложные переходные случаи, как, например, в романе *Подросток*, где немец Крафт, считавший себя уже русским, по словам и делам оказывается

все-таки нерусским; или как в *Преступлении и наказании*, где русский по происхождению Раскольников изменяет вере своего народа и служит именно расколу народного единства, но затем раскаивается.

Крафт в *Подростке*, оставаясь в глубине души логически рассуждающим и магически настроенным немцем, закономерно заканчивает жизнь самоубийством — венцом магической гордыни. Как большинство немцев, он уповает на воплощенную народную силу, его фамилия и означает в переводе с немецкого: *Сила* (позже, в *Дневнике* 1876 года, Достоевский несколько страниц и даже особую главку посвящает «воинственности немцев»). Крафт разделяет народы по их могуществу на главные и второстепенные. Он исписал «тетрадь ученых выводов о том, что русские — порода людей второстепенная, на основании френологии, краниологии и даже математики, и что, стало быть, в качестве русского совсем не стоит жить» (т. XIII, с. 135). Полагался он и на «филиологию» с ее данными (т. XIII, с. 45). Здесь сказалось свойственное германскому (и шире — общемагическому) сознанию упование на родо-кровную основу народного единства и на божественное могущество человеческого духа. Судьба Крафта — это предсказание исторической трагедии немецкого народа, в которой, впрочем, лишь частным образом отразилась очередная трагедия магического сверхнарода.

С Крафтом в романе спорят (или косвенно сопоставляются) представители других течений в русской прозаической интеллигенции: левые (социалисты, либералы), правые (консерваторы). Однако, по Достоевскому, все их убеждения — от родокровной магии германского образца до космополитического либерализма — сходны в своем отрицании великого исторического предназначения русского народа и в своей пораженности общим западным духом, хотя и в разной степени поражены им. Этот дух получил в XX веке наименование «фашизма», и Достоевский, подобно другому пророку русского слова — Федору Тютчеву (в его собственных размышлениях о Западе) предусмотрительно указал на эту родовую черту: не только в *Подростке*, но и в *Дневнике* 1876 года (март), где увлеченную Западом русскую интеллигенцию он описал посредством будущей «фашистской» символики, имеющей древнеримские корни:

Одним словом, хоть и старо сравнение, но наше русское интеллигентное общество всего более напоминает собою тот древний пучок прутьев, который только и крепок, пока прутья связаны вместе, но чуть лишь разогнута связь, то весь пучок разлетится на множество чрезвычайно слабых былинки, которые разнесет первый ветер. Так вот этот-то пук у нас теперь и рассыпался (т. XXII, с. 83).

Здесь подразумевается римский символ государственной власти — пучок прутьев с секирой (лат. *fascis* — «фасцис» — «связка, пучок»); откуда итальянское *fascio* — «фашо» — тот же «пучок» с секирой, ставший в XX веке знаком фашизма). Единство подлинного русского народа, в отличие от мнимого и самораспадающегося единства обращенной к Западу интеллигенции, Достоевский не описывает в понятиях пучка и секиры. А саму интеллигенцию в ее духовном отщепенстве и с ее стремлением насильственного воздействия на народ он именует неким обособившимся «народиком»:

Оказывается, что мы, то есть интеллигентные слои нашего общества, — теперь какой-то уж совсем чужой народик, очень маленький, очень ничтоженький, но имеющий, однако, уже свои привычки и свои предрассудки, которые и принимаются за своеобразность, и вот, оказывается, теперь даже и с желанием своей собственной веры (*Дневник писателя*, 1876, март; т. XXII, с. 98).

Эта интеллигентская вера находит выражение в разнообразных ересьях и сектах древнего и нового толка. Особенно опасным новообразованием писатель считает спиритизм — прямое уже поклонение духам зла — и он неоднократно возвращается к описанию этого явления на страницах *Дневника*. Даже возрастающий атеизм Достоевский рассматривает в *Подростке* как новую веру западного происхождения, а самоорганизацию атеистов как новую Церковь, причем, в *Дневнике* 1876 года (март) замечает, что в своем романе предвидел возникновение действительной «Церкви Атеистов» в Англии (т. XXII, с. 97).

Внутри русской интеллигенции писатель различает две степени отпадения от своего народа. Совсем отпавший «народик» — это «консерваторы» западного толка, те, кто защищает устои западного общественного устройства и, таким образом, сознательно и полностью порывает с русским духом и своей родиной. Они закономерно заканчивают переходом в католичество — наиболее мощное в то время проявление западного духа. «И так, вот что значило перемолоться из русского в настоящего европейца, сделаться уже настоящим сыном цивилизации» (т. XXIII, с. 43); именно эти отщепенцы «теряли последнее русское чутье свое, теряли русскую личность свою, теряли язык свой, меняли родину, и если не переходили в иностранные подданства, то, по крайней мере, оставались в Европе целыми поколениями» (*Дневник писателя*, 1876, июнь; т. XXIII, с. 43).

Другие русские западники — либералы и социалисты — увлекаются теми устремлениями западного духа, которые направлены на разрушение любого прежнего жизнеустройства, в том числе и породившего их западного (*Дневник писателя*, 1876, июнь). Достоевский замечает

«парадокс»: те из подобных отступников, которые не становятся скорыми жертвами собственного самоубийственного убеждения, выживают и возвращаются к истокам, началам родной духовности, становясь сознательными врагами западного миропорядка и защитниками русского образа жизни (т. XXIII, с. 38–40). В данной части своих рассуждений и художественных созерцаний Достоевский предсказал противоречивый ход русской истории после 1917 года.

Мысли о противоречиях современной русской жизни развиваются не только в дневниковом повествовании, но и в художественной ткани *Подростка*, в частности, посредством сложного образа Версилова — образцового отщепенца-скитальца, во многом разорвавшего в своей душе и в отношениях с близкими скрепы народного духа. Он уже неправославен, по слухам, живя на Западе, «в католичество перешел» (кн. Сокольский) (т. XIII, с. 31). Однако, слухи противоречивы. Сам Версильов уклончиво подтверждает свое бывшее искушение католицизмом: «о Боге их тосковал» (т. XIII, с. 378), но и признает итоговую либеральность своей веры: «я [...] философский деист, как вся наша тысяча» (т. XIII, с. 379). Его эсхатологические предчувствия отчасти напоминают православные. Впрочем, отмечая нарастание вавилонско-магических антихристианских проявлений в жизни человечества, он не видит охранительного значения Православного Царства. Он обещает Макару Ивановичу венчаться с Софьей и никак не решается это сделать. Его внутренний надлом выражается в испещрении русской речи иностранными словами. Эта противоречивость выражена в латинской по происхождению фамилии: от *versatio* (позднелат. *versio*) — «вращение, обращение, изменчивость, поворот, возвращение». Он однажды сказал по-французски: «Мы всегда возвращаемся» (т. XIII, с. 104). В его жизни это проявляется и как прохождение полного (но не единственного) круга логических доказательств («версия»), и как намечающийся возврат к собственным народным истокам (православно-русским). Он так и остается в своем болезненном расщеплении, раздвоении, кружении духа, но эта болезнь отцов, поставившая народное самосознание на грань распада, как показывает Достоевский, все-таки преодолевается подрастающим поколением детей, «подростков».

В целом наблюдения писателя в дневнике и последних романах позволяют ему заключить, что давние надежды Запада на уничтожение начал русского самосознания, надежды на «политическое и социальное разложение русского общества, как национальности», вновь и вновь опровергаются подъемом Православной веры, когда народ обретает в бедах и напастях общее «православное дело» (*Дневник писателя*, 1876, июль–август; т. XXIII, с. 102). В новое смутное время неистре-

бимая народная нравственность помогает типичному русскому «подростку» выдерживать искушение самой что ни на есть западной идеей Ротшильдова богатства, и словно бы в награду он заранее получает от всезнающего автора фамилию князя, основавшего Москву — будущий Третий Рим (не кровная, а духовная причастность к роду избранных строителей Православной державы здесь указывается). Другой такой же подросток, Алеша Карамазов, глубоко проникается духом православного монашества и возвращается в мир «твердым на всю жизнь бойцом», чтобы защищать начала народной нравственности и веры.

Aleksandr V. Motorin

DOSTOJEWSKI O ROSYJSKIEJ SAMOISTNOŚCI NARODOWEJ

Streszczenie

Od maja 1872 roku Dostojewski długo przebywał na ziemiach Starej Rusy, usiłując pojąć fenomen rosyjskiej gleby, istoty rosyjskiego bytu narodowego. Doprowadziło to do istotnego przekształcenia twórczej orientacji pisarza. Dostojewski powrócił wówczas do jednego z najistotniejszych elementów rosyjskiej samoświadomości: do twórczości słownej wolnej od nalotu osobistej świadomości i woli artysty, od magicznej gry wyobraźni, od pokusy tworzenia i narzucania wielkiemu światu Bożemu swego własnego świata, swojej prawdy. Równocześnie w świadomości twórczej pisarza kształtuje się wyobrażenie o jedności takich źródeł rosyjskiego ludowego światoodczucia, jakim była wiara w Chrystusa, etyczna czystość, łagodność, prawosławne historiozoficzne samouświadomienie Trzeciego Rzymu i wreszcie — ludowego języka, który wszystko to wyraża i przechowuje. Szczególne znaczenie przydaje pisarz żywemu wcieleniu tych zasad w idealnych osobowościach świętych obrońców wiary, rosyjskich kobiet, prostych ludzi. Przetrawanie zasad ludowej samoświadomości w żywych ludziach jest, według Dostojewskiego, gwarancją dalszego istnienia narodu w czasie ziemskim i szczęśliwego losu w Wieczności.

Alexandr V. Motorin

DOSTOEVSKY ABOUT THE RUSSIAN FOLK ORIGINALITY

Summary

From May, 1872 Dostoevsky for hours lives on earth of Staraya Russa (Old Russia), deepening into understanding of Russian soil, nationality. It was told on the substantial transforming of creative setting: to a great extent the writer went back to one of the native beginnings of Russian consciousness: to verbal creation, free from the personal tyranny of the artist, from the magic figment of the imagination, from the temptation to create and impose to the large God's world with the own artistic, fiction world. At the same time in his creative consciousness the idea about the unity of such beginnings of Russian folk mentality, as the faith into Christ, moral cleanliness, meekness, orthodox historiosophy consciousness of The

Third Rome, and finally, language, which all of these expressing and saving, is normalized. The special meaning the writer gave to the living embodiment of these beginnings in some ideal personalities of the saint devotees of faith, Russian women, simple people. Saving of the beginnings of the folk consciousness in living persons is appeared, by Dostoevsky, with the pledge of further existence of nation in the earth time and happy fate in the Eternity.